

## Шествие

Если тебе велят — влево, а ты направо  
топаешь в аккурат,  
не сомневайся, брат, это еще не слава  
и не свобода, брат.

Правду ори свою рэпом или былинным  
слогом, но посмотри:  
ты все равно в строю, непоправимо длинном,  
ровного рва внутри.

Вот и гадай, как лох: пафос, а может, лепет?  
Прятаться или сметь?  
Гиппиус или Блок? Быков или Прилепин?  
Родина или смерть?  
Вверить спешат толпу ратники и сиротки —  
всяк своему божку.  
Хуже всего тому, кто семенит в серёдке,  
в плечи втянув башку.

С кем ты — спеша, скользят? — мне за тебя тревожно.  
В тот ли вписался ряд?  
Притормозить нельзя. Выбраться невозможно.  
Разве что — в небо, брат.

\*\*\*

Пятые сутки баржу болтает в море.  
Умный дурак мне пишет, что всем кранты.  
На берегу коты застывают в ссоре,  
прямоугольно выгнув свои хвосты.

Спорить не стану: шар наш — ковчег без трапа.  
Правда, коты считают, что выход есть.  
Чёрный — за Клинтон, рыжий (верняк!) — за Трампа.  
Морда в бугристых шрамах и дыбом шерсть.

Дует восток, ломая зонты на пляже,  
круг надувной катя по волне ребром.  
Фуры вдоль трассы. И никакой продажи  
у торгашей, пока не пойдёт паром.

Жалко водил, заснувших на жёсткой травке.  
Мелкого жаль, что, круг упустив, гундит;  
жалко народ, что ринулся делать ставки  
на кошаков... Мне пофиг, кто победит

там или здесь — под этой летящей криво  
гиблой волной, сводящей запал к нулю.  
Сидя на парашюте с бутылкой пива  
и сигаретой winston, я всех люблю.

\*\*\*

Говорит приёмьш, пасынок, лишний рот:  
«Ладно, я — урод, нахлебник, дурное семя,  
но сарай твой скрёб и вскапывал огород,

а когда повальный, помнишь, был недород,  
я баланду хлебал со всеми.

Я слепым щеглом в твои залетал силки,  
на твоём крючке висел лупоглазым карпом.

А когда по ребрам били твои сынки,  
я в ментовку на них не капал.

Кто тебя тащил, когда ты была пьяна,  
избавлял от вшей, от пуль заслонял спиною?

Что же ты меня выталкиваешь, страна,  
и отхаркиваешься мною?»

А она в ответ: «Ты воду, манкурт, вари  
из другой страны, что, пасынкам потока,  
согласится слушать все эти: «твой», «твои»,  
не кривясь брезгливо. Что ты застыл? Вали,  
если есть на земле такая».

\*\*\*

Видно, здорово напился, убаюкивая дух,  
коль не хипстера на пирсе видишь ты, а сразу двух.  
Это прям какой-то Пратчетт. Клацнув дверцами тойот,  
глупый хипстер робко прячет, умный — смело достает,  
чтоб, торча в чужой палатке с гордой надписью «Надым»,  
ты ловил ноздрями сладкий электронной цацки дым.  
Не впервой курить вприглядку бездоходному тебе,  
на челе сгоняя в складку мысль о классовой борьбе.  
Не впервой слезой давиться пересекшему Сиваш.  
Всё плывет, и всё двоится: крымненаш и крымневаш.  
И маячат беспартийно — между миром и войной —  
цвета местного портвейна два светила над волной.  
Ты и сам давно раздвоен: у тебя внутри мятеж,  
перестрелка, смута, зрада, разорённая страна,  
где один — Аника-воин, а другой — А ну-ка врежь,  
и обоим вам не надо ни победы, ни хрена.  
Потому что в этом гуле, продолжающем расти,  
ты боишься, но не пули — страшно резкость новости

на окрестность, где отсрочка от войны лишает прав,  
и никчёмный одиночка видит, голову задрвав,  
как меж бездною и бездной, рассекая темноту,  
хипстер движется небесный с огнеметом на борту.

## Поезд

И, вертясь, трясёт нечёсаной головой,  
и сопит, с часами блёклый пейзаж сверяя.  
Наш состав по водам движется, как живой.  
Хлороформом пахнет наволочка сырая.

Всех достал, трещотка (вот уж не повезло!):  
мол, стекло в подтёках, чай не разносят утром,  
чем лечить подагру, кто изобрел весло,  
москалям сейчас вольготнее или украм.

Выясняет нудно: вторник или среда?  
То ли он, хлебнув, куражится, то ли бредит.  
А ещё всё время спрашивает: куда  
этот поезд едет?

Но уже глупца назначил своим врагом  
с верхней полки дядька. И настучал на «гада».  
— Вы его куда — с вещами? — В другой вагон.  
Проводник суров: «Постель не бери. Не надо».

Тут законы круты: если чужак — сваля.  
В коридоре — пусто. Шторки раздвинешь — голо.  
Но всё глубже, глубже — в сумрачные слои —  
проникает поезд из одного вагона,

заливая светом логово темноты,  
где цветут, кренясь, медуз голубые маки,  
где, со дна поднявшись, ляхи и гайдамаки  
подплывают к нам, как рыбы, разинув рты.

Верка ропщет, ропщет: «Надо же так суметь!  
 Ты за что, Господь, ему уготовил смерть?  
 Он же был непьющий,  
 в хоре Твоем поющий,  
 сроду не делал зла.  
 А этого Ты козла,  
 за которым три ножевых,  
 оставил в живых».

Надька ропщет, ропщет: «Что-то я не пойму:  
 Ты зачем, Господь, упёк моего в тюрьму?  
 Нож из руки не выбил.  
 Видел же, что он выпил.  
 Сам, что ль, до крови лаком?  
 Может, в петлю прикажешь мне?  
 А семерых по лавкам —  
 раздать родне?»

Ропщет Любка: «Планов не угадать Твоих:  
 дал сперва двоих, потом отобрал двоих.  
 Один — смирный, смурной.  
 Другой — шальной, заводной,  
 лют бывал после водки,  
 но со мной — теплел.  
 Все эти цацки, шмотки —  
 к чему теперь?»

И гуськом плетутся, охая, бормоча.  
 Слева и справа густо цветёт бахча,  
 перекликаясь пчелами. У развилки  
 озадаченно тормозят.  
 Одной — к тюрьме. Другой — напрямиком — к могилке.  
 А третья хлебнёт из пластиковой бутылки —  
 и назад, назад.

# Зависть

Полон рыбы твой водоём. Поля твои — не пустые.  
Даже блохи на псе твоём — заведомо! — золотые.  
Больше мяса в твоём борще. А чайник твой без огня  
закипает. И вообще ты трижды умней меня.

И внутри я тебя черней, и хуже тебя снаружи.  
По ночам и звезда крупней в твоей расцветает луже.  
И покуда мой неуют вылавливает беду, —  
словно ангельский хор, поют лягушки в твоём пруду.

Намекни лишь — и присягну, что,  
как неразумный Крым, я  
бесполезно иду ко дну, а ты расправляешь крылья,  
набирая ту высоту — декретов и санкций вне, —  
до которой не дорасту — куда уж ничтожной мне!

Распишусь на любом клочке и кровью  
вдогонку капну:  
я — червяк на твоём крючке, я — корм  
дуралею карпу,  
я — вместилище пустоты, софоры сухой стручок, —  
что захочешь. Но только ты в меня не вперяй зрачок,

бормоча, утирая пот, упорно идя по следу,  
словно я сорвала джекпот, отняв у тебя победу,  
и оставила без гроша, и двор оплела травой,  
и у пса твоего парша, и борщ без навары твой.

\*\*\*

Все-таки — юг с опрятным его платаном,  
кислым кизилом всюду и задарма,  
чайкой картавой, рынка нитьём гортанным,  
душным баштаном и пахлавой холма.

Все-таки — юг с туземною тягой к цацкам,  
блажью пустой: в тебя затолкать еду;  
мот и бахвал, что всё именует «царским»:  
бухту, тропу и ужин в ночном саду.

Сводник, понтёр с тоской в маслянистом оке,  
всем — собутыльник и никому не друг;  
бог караоке, мастер базарной склоки,  
в пыльных вьетнамках джокер. И все же — юг.

Солончаков злопамятный Монте-Кристо,  
вкрадчив, ленив, а хрена его нагнёшь.  
Долго пасёт, зато убивает быстро,  
всякому дулу предпочитая нож.

## **Закрывая дачу**

Лишние чашки (всяк выбирал свою)  
прячу в коробку: Света, Андрюха, Стас.  
Всё, что сгребало лето, лепя семью,  
осень смолола, переводя в запас.

Я подгоняла сонных: «А ну, а ну!» —  
Запахом кофе, чая из местных трав.  
Где, на каком кордоне моё «ау»  
ждёт растаможки, в очереди застряв?

Лишь богомол на самом краю листа  
плоской башкой качает, ловя баланс.  
Беглые друзья, совесть моя чиста:  
даже не треснул этот фарфор-фаянс

с вишней, собачкой, брызгами конфетти.  
Упаковать. Бечёвкой обвязать.  
Я отпустила всех, кто хотел уйти.  
Я отдала им всё, что хотели взять.

Молодое светило вылезло на вершок.  
Пять утра. Ни морщинки на посветлевшем шёлке.  
Пляж безлюден. Лишь две синюшные шалашовки  
собирают бутылки в пластиковый мешок.  
То ли это мотель на трассе, то ли сераль:  
бирюзовая вязь, понтовая позолота,  
в запотевший цветник распахнутые ворота  
и коровьей лепёшки спекшаяся спираль.  
Справа — старый погост, где розы крадёт жульё;  
на бетонной ограде красным: «Сдаю жильё»;  
снизу — чёрным — приписка: «Дорого и навеки».  
Неопознанный птичик боком торчит на ветке  
запылённой софоры и верещит своё.  
Слева клуб, от невзгод не спасший свою корму.  
Но фасад уцелел и плиты еще не спёрты.  
Перед ним постамент, мужик в пиджаке. Кому  
этот памятник? Вроде, Киров, но буквы стёрты.  
Куришь, в масляный воздух дым выпуская злой,  
пятернёю вода нелепо, как бы смывая  
этот верхний, сиротский, праздно-лубочный слой.  
И фрагментами проявляется вдруг живая  
виноградная волость, каменная страна,  
всякий раз при угрозе вражеского секвестра  
уплывающая из рук полотном Сильвестра  
Щедрина.